

«БЕЗОШИБОЧНЫЙ МУРАВЕЙНИК» И «МУРАВЕЙНОЕ БРАТСТВО»: Ф. ДОСТОЕВСКИЙ VS Л. ТОЛСТОЙ

К. А. Нагина

Воронежский государственный университет

Поступила в редакцию 20 января 2023 г.

Аннотация: в творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского в основе социального моделирования зачастую лежат зооморфные метафоры. Одной из метафор подобного рода является «человеческий муравейник». Однако писатели наделяют этот образ диаметрально противоположными смыслами. У Толстого инсектный текст в целом связан с мотивом радости бытия, у Достоевского чаще всего насекомые репрезентируют хтонические, разрушительные начала. Образ «муравьев в кочке», сопоставимый с образом пчел в пчельнике, Л. Толстой избирает для моделирования идеальных социальных отношений, что отражается и в художественных, и в религиозно-философских текстах писателя. Достоевский с образом «человеческого безошибочного муравейника» связывает социальный антиидеал, построенный на насильственном единении человечества и сопряженный в «Дневнике писателя» с католической идеей.

Ключевые слова: Л. Толстой, Ф. Достоевский, муравейник, «муравейное братство», «Дневник писателя».

Abstract: in the works of L. Tolstoy and F. Dostoevsky's social modeling is often based on zoomorphic metaphors. One of the metaphors of this kind is the "human anthill". However, writers endow this image with diametrically opposite meanings. In Tolstoy, the insect text as a whole is associated with the motif of the joy of being, in Dostoevsky, insects most often represent chthonic, destructive beginnings. The image of "ants in a hummock", comparable to the image of bees in a bee stump, L. Tolstoy chooses ideal social relations for modeling, which is reflected in both artistic and religious-philosophical texts of the writer. Dostoevsky connects the image of the "human unmistakable anthill" with the social anti-ideal, built on the violent unity of humanity and coupled in the "Writer's Diary" with the Catholic idea.

Keywords: L. Tolstoy, F. Dostoevsky, anthill, "ant brotherhood, "Writer's Diary"

Одинаково важную роль в творчестве Л. Толстого и Ф. Достоевского играет «инсектный текст», интерпретация которого не только обнажает разногласия писателей в бытийных и социально-политических вопросах, но проливает свет на их схождения, порой самые неожиданные. Наиболее репрезентативным примером в данном случае является паук, в произведениях Толстого плетущий «паутину любви» и устойчиво связанный с идеей самоотвержения, «счастья для других», а в произведениях Достоевского, в особенности позднего, устойчиво соединенный с хтоническими мотивами, мотивами разрушения и сладострастия. Однако история о паутине любви Будды, сплетенная для спасения разбойника Кандаты, поведенная Толстым в «Карме», неожиданно сопрягается с «басней» о луковке, рассказанной Грушенькой Алеше в романе Достоевского «Братья Карамазовы». Ту же траекторию отталкивания и сближения двух писателей обнаруживает «муравьиная» топика, по частотности появления в текстах писателей не уступающая «паучьей».

Присутствию этих образов в текстах Достоевского посвящена весьма обширная библиография — начиная с Г. М. Фридендера и Г. Ф. Когана, возводящих образ муравейника у Достоевского к философской повести Вольтера «Микромегас», к Лессингу и роману Ш. Нодье «Жан Сбогар», где муравейником называется человеческое общество [1, т. 7, 387], до статей В. В. Дудкина [2], С. А. Ипатовой [3], Ю. Н. Сытиной [34] и других. Толстовским «муравьям» в этом смысле повезло намного меньше — они никогда не становились объектом отдельного исследования, хотя для автора «Войны и мира» эта метафора имеет не меньшее концептуальное значение, чем для автора «Преступления и наказания», а сопоставительное исследование функционирования «муравьиных» топосов у обоих писателей способно многое прояснить в их философских построениях.

Безусловно, «муравьиная» топика в творчестве Толстого и Достоевского имеет общие корни: это устойчивый символ утопии и антиутопии в европейской литературе. К нему обращались Платон и Плиний, Г. Э. Лессинг, Н. Г. Чернышевский в очерке о Лессинге, Ч. Дарвин, Дж. Стюарт Милль, Ж. Мишле. Книга последнего о насекомых была переведена

в начале 1860-х годов на русский язык и была весьма популярна. Приведем цитату французского историка, в главе «Муравьи» выстраивающего традиционную параллель между человеческим сообществом и сообществом насекомых: «Общества существуют только у людей и у насекомых. <...> самое высокое произведение на земном шаре, самая высокая цель, к которой стремятся его обитатели, без сомнения, — общество; и, без сомнения, насекомое достигло этой цели. Никакое другое животное, кроме человека, не достигло его» [5, 239]. Не менее показательна цитата из Милля в пересказе Э. Тэна, чья статья была напечатана в журнале «Время»: «Если бы муравей философствовал, он мог бы найти идею бытия, ничто и вообще все материалы метафизики, потому что их представляет всякое явление внешнее и внутреннее» [6, 389].

В статье Чернышевского, считавшего возможным построение общества на разумных началах, муравейник как раз и представляется идеальной моделью подобного рода, отличающейся от человеческого устройства слаженностью полезной деятельности. Кроме того, образ муравейника у Лессинга в пересказе Чернышевского в диалоге Эрнста и Фалька вписывается в масонский контекст. Как замечает Эрнст, «общество» муравьев «еще удивительнее, нежели улей. Потому что у них нет общего управления». А такой порядок возможен, если каждый научится «управлять самим собою». С людьми же такое едва ли может случиться [7, т. 4, 210].

С. А. Ипатова устанавливает связь между рассуждениями Достоевского о «муравейнике» и статьей Чернышевского, поскольку в «Записной тетради» 1875–1876 гг. «муравейник упоминается в связи с масонами» [3, 27–28]: «Где примирение, было в вере, но вера утрачена, в чем же, где этот муравейник? Не у масонов ли? Право, мне мерещится всегда, что у них какая-то тайна, а дово разумение, тайна муравья. Но какая тайна равносильна обращению человека в муравья, коли дан разум. Да и человек не захочет муравьиного гнезда. Предположится наукой найденный муравейник. Потребуется лишения, условия, ограничения личности. <...> Я хочу не такого общества научного, где бы я не мог делать зла, а такого именно, чтоб я мог делать всякое зло, но не хотел его делать сам» [1, т. 24, 162].

С наукой и формулами «рациональных истин» муравейник соединяется у Достоевского в «Записках из подполья»: «Вот муравьи совершенно другого вкуса. У них есть одно удивительное здание в этом же роде, навеки нерушимое, — муравейник. С муравейника почтенные муравьи начали, муравейником, наверное, кончат, что приносит большую честь их постоянству и положительности. Но человек существо легкомысленное и неблагоприятное и, может быть, подобно шахматному игроку, любит только один процесс достижения цели, а не саму цель. И кто

знает (поручиться нельзя), может быть, что и вся-то цель на земле, к которой человечество стремится, только и заключается в одной этой непрерывности процесса достижения, иначе сказать — в самой жизни, а не собственно цели, которая, разумеется, должна быть не иное что, как дважды два четыре, то есть формула, а ведь дважды два четыре есть уже не жизнь, господа, а начало смерти» [1, т. 3, 118–119].

В. В. Розанов, комментируя «три формулы» «выражения идеи всемирного соединения людей» в «Записках из подполья», — «Курятник», «Хрустальный дворец» и «Муравейник», акцентирует отсутствие у человека «общего и безошибочного инстинкта построения своего жилища»: «...когда они (муравьи. — К. Н.) строят всегда одинаково, повсюду одно и постоянно мирно, человек строит повсюду различное, вечно трансформируется в своих желаниях и понятиях; и едва приступит к построению всеобщего — разойдется в представителях своих, единичных личностях, и притом со смертельною враждою и ненавистью» [9, 120–121].

Комментарии В. В. Розанова о «безошибочном инстинкте» муравья и отсутствии его у человека созвучны мыслям Ф. М. Достоевского, изложенным в «Дневнике писателя» за сентябрь–ноябрь 1877 года: «Не имея инстинкта пчелы или муравья, безошибочно и точно созидających улей и муравейник, люди захотели создать нечто вроде человеческого безошибочного муравейника. Они отвергли происшедшую от бога и откровением возведенную единственную формулу спасения его: “Возлюби ближнего как самого себя” — и заменили ее практическими выводами <...> или научными аксиомами вроде “борьбы за существование”. Не имея инстинкта животных, по которому те живут и устраивают свою жизнь безошибочно, люди гордо понадеялись на науку, забыв, что для такого дела, как создать общество, наука еще все равно что в пеленках» [1, т. 26, 90]. И так, «метафора “муравейника”, — как замечает С. А. Ипатова, — на протяжении всего творчества Достоевского претерпевала изменения, наполняясь конкретными смыслами, однако неизменно ассоциировалась в социалистическом (коммунистическом) устройством общества как тоталитарная модель социума» [3, 31].

Изначальная «семантическая разногласица» в функционировании топосов «муравья» и «муравейника» позволяет Л. Н. Толстому наполнять их смыслами, противоположными смыслам Достоевского. Обнаруживая «полярные корреляции: коллективизм — социальный инстинкт, анонимная массовость; самопожертвование — бездушная рациональность; братство — субординация, кастовость, тоталитарность; дисциплинированность — машинальность, абсолютное повиновение; согласная работоспособность — рабочий инстинкт» [3, 24], эти топосы включаются писателями в очень близкие контексты, выявляя очевидные несовпадения во взглядах.

Одним из таких общих контекстов является тема масонства. Масонская «тайна муравья», которая «мерещилась» Достоевскому, у Толстого осмыслилась как идеал «муравейных братьев», «льнущих любовно друг к другу <...> под всем небесным сводом всех людей мира». Это, пожалуй, один из самых известных широкому кругу читателей образов Толстого, поскольку он связан с местом его погребения — «на краю оврага старого Заказа», там, где зарыта «зеленая палочка», на которой написана «главная тайна о том, как сделать, чтобы все люди не знали никаких несчастий» [9, т. 14, 427].

Эта история была включена Толстым в «Воспоминания», написанные им по просьбе первого биографа П. И. Бирюкова. В центре ее — фигура старшего брата писателя, Николеньки, который объявил младшим братьям, что «у него есть тайна, посредством которой, когда она откроется, все люди сделаются счастливыми, не будет ни болезней, никаких неприятностей, никто ни на кого не будет сердиться и все будут любить друг друга, все сделаются муравейными братьями» [9, т. 14, 426].

Толстой проясняет изначальный смысл этого словосочетания: «Вероятно, это были Моравские братья <...> Николенька, вероятно, прочел или наслушался о масонах, об их стремлении к осчастливливанию человечества, о таинственных обрядах приема в их орден, вероятно, слышал о Моравских братьях и соединил все это в одно в своем живом воображении и любви к людям, к доброте» [9, т. 14, 426].

Как вспоминает Толстой, само словосочетание «муравейное братство» очень нравилось ему: его значение символически воплощалось в игре, во время которой братья залезали под стулья, которые занавешивали платками, сидели в этом темном укрытии, тесно прижавшись друг к другу и напоминая «муравьев в кочке», что вызывало «особенное чувство любви и умиления» [9, т. 14, 427]. В финале рассказа Толстой заключает, что это детское воспоминание не изгладилось из его памяти, напротив, «идеал муравейных братьев» для него «костался тот же».

Эта история созвучна сцене лирической медитации Николеньки Иртеньева в лесу. Герой с благоговейным почтением наблюдает за слаженными действиями муравьев: «Они один за другим торопились по пробитым ими торным дорожкам: некоторые с тяжестями, другие порожняком. Я взял в руки хворостину и загородил ею дорогу. Надо было видеть, как одни, презирая опасность, подлезали под нее, другие перелезали через, а некоторые, особенно те, которые были с тяжестями, совершенно терялись и не знали, что делать: останавливались, искали обхода, или ворочались назад, или по хворостинке добивались до моей руки и, кажется, намеревались забраться под рукав моей курточки» [9, т. 1, 33].

Следует заметить, что в художественном творчестве Достоевского «муравьи, когда их не навязывают

в качестве образца человеку, выступают <...> как часть Божьего мира и “великой тайны” его» [4, 111]. Это проявляется в словах старца Зосимы: «Всякая-то травка, всякая-то букашка, муравей, пчелка золотая, все-то до изумления знают путь свой, не имея ума, тайну Божию свидетельствуют, непрерывно совершают ее сами» [1, т. 6, 267]. Как замечает Ю. Н. Сытина, «муравьи в художественной картине мира Достоевского занимают в конце концов достойное место, но то место, которое предопределено им Богом, а не “господами социалистами”» [4, 111].

У Толстого же все насекомые, даже мухи и комары, традиционно связанные с танатологическими мотивами, наделяются позитивной семантикой: «Первая и, пожалуй, главная функция насекомых у Толстого, явно происходящая из их роевой природы, — обозначать радость бытия. Эта символическая функция напрямую связана с идеей писателя о тотальной ассимиляции всего сущего, о проникновении всего во все. Такое упоминание о насекомых всегда является сигналом смены ролей у автореферентного героя: из наблюдателя он должен превратиться в участника происходящего, должен «проникнуться» тем, что происходит в природе, и прикоснуться к “разуму внутри живого”» [10, 234]. Об этом свидетельствует и сцена детской медитации, приведенная Толстым в первой части знаменитой трилогии.

И если даже мухи обнаруживают у Толстого свою «роевую природу», то что же говорить о муравьях, которые фигурируют в его произведениях в тех же контекстах, что и пчелы. В этом смысле особенно показательны два описания Москвы в романе «Война и мир»: первое — опустевшей Москвы в эпизоде, когда Наполеон ждет «депутацию» у ворот города, и второе — разоренной Москвы, куда после отступления французов возвращаются люди. Оба описания связаны с толстовской концепцией истории как «бессознательной, общей, роевой жизни человечества». В первом случае писатель использует образ улья, во втором — муравейника: Москва «была пуста, как пуст бывает домирующий, обезматочивший улей. В обезматочившем улье уже нет жизни, но на поверхностный взгляд он кажется таким же живым, как и другие. Так же весело в жарких лучах полуденного солнца вьются пчелы вокруг обезматочившего улья, как и вокруг других живых ульев; так же издали пахнет от него медом, так же влетают и вылетают из него пчелы. Но стоит приглядеться к нему, чтобы понять, что в улье этом уже нет жизни» [9, т. 6, 340]; «Так же, как трудно объяснить, для чего, куда спешат муравьи из раскиданной кочки, одни прочь из кочки, таща соринки, яйца и мертвые тела, другие назад в кочку — для чего они сталкиваются, догоняют друг друга, дерутся, — так же трудно было бы объяснить причины, заставлявшие русских людей после выхода французов толпиться в том месте, которое прежде называлось Москвою. Но так же,

как, глядя на рассыпанных вокруг разоренной кочки муравьев, несмотря на полное уничтожение кочки, видно по цепкости, энергии, по бесчисленности копышущихся насекомых, что разорено все, кроме чего-то неразрушимого, неведущего, составляющего всю силу кочки, — так же и Москва, в октябре месяце, несмотря на то, что не было ни начальства, ни церквей, ни святынь, ни богатств, ни домов, была та же Москва, какую она была в августе. Все было разрушено, кроме чего-то неведущего, но могущественного и неразрушимого» [9, т. 7, 223–224]. Эти цитаты демонстрируют не просто смысловую близость, но тождественность «пчелиного» и «муравьиного» топосов для Толстого.

Особенно часто муравьиная топика появляется у Толстого в публицистических и религиозно-философских текстах 1880–1890-х годов. В трактате «О жизни» появляется метафора перевернутого муравейника, построенного потерявшими ориентир насекомыми. Эта метафора поддерживает рассуждения писателя о безумии «нерабочего сословия», к которому по происхождению принадлежит он сам. Это сословие «получает возможность пользоваться без труда всеми благами жизни и передавать своим детям или кому вздумается... кошелек с неразменным рублем». В итоге «пирамида общественного здания как бы перестраивается так, что камни основания переходят в вершину». «Я вижу, — заключает Толстой, — что происходит подобное тому, что произошло бы в муравьиной куче, если бы общество муравьев потеряло чувство общего закона, если бы одни муравьи из основания кучи стали бы перетаскивать произведения труда на верх кучи и все суживали бы основание и расширяли вершину и тем заставили бы и остальных муравьев перебираться из основания в вершину» [9, т. 16, 228].

В Дневнике за 1890 год писатель снова вспоминает о том, что человеку «далеко» до пчел и муравьев, поскольку он лишен их бессознательного инстинкта. И здесь он смыкается с Достоевским — с его «безошибочным» инстинктом муравья: «Человеку прежде еще общины пчелиной и муравьиной надо сознательно дойти до скота, от которого он еще так далек: не драться из-за вздоров, не обжираться, не блудить, а потом уж придется сознательно доходить до пчел и муравьев в общинах» [11, т. 51, 88].

На место «инстинкта животных» «механический» социализм в интерпретации Достоевского подставляет науку, но «общество невозможно сконструировать согласно чьим-то намерениям и пожеланиям, выраженным в виде социальной теории» [1, т. 5, 13]. Научные теории в организации общества отрицает и Толстой. В трактате «Так что же нам делать?» он отвергает позитивистские построения: «Теория эта такая: все человечество есть неумирающий организм, люди — частицы органов, имеющие каждый свое специальное призвание для служения целому.

Точно так же, как клеточки, слагаясь в организм, усиливают одну способность и ослабляют другую и слагаются в один организм, чтобы лучше удовлетворять потребности целого организма, и точно так же, как в общественных животных — муравьях, пчелах — отдельные особи разделяют между собой труд <...> точно то же происходит и в человечестве и человеческих обществах. И потому, чтобы найти закон жизни человека, нужно изучать законы жизни и развития организмов. Все это кажется очень невинно, но стоит только сделать выводы из всех этих законов, чтобы тотчас же увидеть, что законы эти клонят туда же, куда клонили и законы Мальтуса. Законы эти клонят... к тому, чтобы то разделение деятельности, которое существует в человеческих сообществах, признать органическим. <...> Как же не допустить такую прекрасную теорию, чтобы после можно было уже навсегда спрятать совесть в карман и жить вполне разумной животной жизнью, чувствуя под собой непоколебимую, по нашему времени, опору научную» [9, т. 16, 319–320].

И здесь видно, как сходятся между собой Толстой и Достоевский, оба отталкиваясь от метафоры «безошибочного муравейника» с основанием в науке, абсолютно невозможным для построения свободного человеческого сообщества. В основе такого сообщества, по Достоевскому, может лежать «славянская идея», способная привести людей к согласию. Ее фундаментом является православная вера: «Не в коммунизме, не в механических формах заключается социализм русского народа: он верит, что спасется лишь в конце концов всесветлым соединением во имя Христова. Вот наш русский социализм» [1, т. 4, 232]. О вере говорит и Толстой. Он призывает «всегда делать то, что велит нам наш разум и наша совесть <...> и откровение Христа, если мы верим ему»: «...для блага всех людей нужно любить ближнего не меньше себя <...> и учение веры всех народов, и разум, и совесть говорят то же всякому человеку» («Воззвание») [9, т. 27, 541]. При всех кардинальных разногласиях, касающихся вопросов веры и православия, мыслители сходятся в одном: невозможно построить справедливое общество рациональным путем, в основе его должен лежать свет нравственных истин и «идеал Христа», который, повторюсь, писатели понимают по-разному.

И в этом контексте неожиданно образ муравейника у Толстого, равно как у Достоевского, приобретает негативный характер: «Может быть, так и надо, чтобы та вера Христа, которая учит смирению, терпению, перенесению обид, деланию ближнему того, чего себе нужно <...> передавалась бы людям учителями разных сотен враждующих между собою сект <...> Может быть, что все это так нужно и свойственно людям, как свойственно муравьям жить в муравейниках, пчелам в ульях, и тем и другим воевать и работать для исполнения закона своей жизни. Может

быть, это самое нужно людям, таков их закон. <...> Но сердце человеческое не верит этому; и как всегда, оно громко вопило против ложной жизни <...> так еще сильнее, сильнее, чем когда-нибудь, оно вопиет в наше время» [11, т. 27, 531–532].

На этом схождения не заканчиваются. Образ муравейника появляется у Достоевского в «Дневнике писателя за 1877 год» в главе ««Анна Каренина» как факт особого значения». В предыдущих главах Достоевский достаточно нелицеприятно размышляет о Левине и его отношении к славянскому вопросу, здесь же отдает должное не просто художественному гению Толстого, а утверждает, что его роман — это тот «факт», который может «отвечать за нас Европе». И дело не в том, что с «Анной Карениной» не сможет сравниться не один современный европейский роман, а в том, что он «составляет нашу особенность перед европейским миром». Идея этого мира состоит в «научной разработке» «единительной силы человечества в общежитии». «Европейская цивилизация» устроена ненормально, но общество движется к совершенству — необходимо найти те законы, на которых будет возведено новое общественное здание, и эти законы укажет наука. А пока «нельзя спрашивать ответа с единиц людских за последствия. Стало быть, преступник безответен, и преступления пока не существуют». И вот здесь Достоевский обращается к образу муравейника: «...ждут будущего муравейника, а пока зальют мир кровью. Других решений о виновности и преступлении людской западноевропейский мир не представляет» [1, т. 25, 201]. Толстой же, в интерпретации Достоевского, дает иной взгляд на «виновность и преступность людей»: «...никакой муравейник, никакое торжество “четвертого сословия”, никакое уничтожение бедности, никакая организация труда не спасут человечество от ненормальности, а следственно, и от виновности и преступности». «Зло, — продолжает Достоевский, — таится в человечестве глубже, чем предполагают лекаря-социалисты, что ни в каком устройстве общества не избегнете зла, что душа человеческая останется та же, что ненормальность и грех исходят из нее самой и что, наконец, законы духа человеческого столь еще неизвестны, столь неведомы науке <...> что нет и не может быть еще ни лекарей, ни даже судей окончательных, а есть Тот, кто говорит: “Мне отмщение и аз воздам”». А любой «судья человеческий» должен прибегнуть только к «Милосердию и Любви», с помощью которых даже враги преоб-

разятся в братьев, простивших друг друга, что гениально показывает «сцена смертельной болезни героини романа» [1, т. 25, 202].

Как известно, в своем романе Толстой, безусловно, выступает против основ европейской цивилизации, что и привлекает Достоевского. И для него Европа превращается в рационально устроенный «безошибочный муравейник», поэтому все цивилизационные достижения в романе служат метафорикой для обозначения гибельности европейского пути. Толстой обращает Левина к народу, который сохраняет и передает «крестьянскую» — в контексте романа «христианскую» — традицию, которая и должна утвердиться в основе особого русского пути. На этом примиряются оба писателя, по-разному, однако, понимающие этот путь и его перспективы.

ЛИТЕРАТУРА

1. Достоевский Ф. М. Полн. собр. соч.: в 30 т. / Ф. М. Достоевский. — Л., 1972–1990.
2. Дудкин В. В. Муравейник Достоевского: от метафоры к концепту / В. В. Дудкин // *Sub specie tolerantiae*. Памяти В. А. Туниманова. — СПб.: Наука, 2008. — С. 147–154.
3. Ипатова С. А. «Муравейник» в социальной прогностике Платонова и Достоевского / С. А. Ипатова // *Творчество Андрея Платонова: Исследования и материалы*. Книга 4. — СПб, 2008. — С. 22–38.
4. Сытина Ю. Н. «Легион имя мне»: еще раз к вопросу о «муравейниках» Достоевского / Ю. Н. Сытина // *Вестник Московского государственного областного университета*. Серия: Филология. — 2021. — № 3. — С. 105–114.
5. Мишле Ж. Царство насекомых: Общепонятное чтение для всех сословий и возрастов / Ж. Мишле. — СПб.: Типография И. Маркова и К., 1883. — 242 с.
6. *Время*. — 1861. — № 6.
7. Чернышевский Н. Г. Лессинг, его время, его жизнь и деятельность (1856) / Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч.: в 15 т. — М., 1948.
8. Розанов В. В. О легенде «Великий инквизитор» // Розанов В. В. *Собрание сочинений*. Легенда о Великом инквизиторе Ф. М. Достоевского. — М.: Республика, 1996. — 701 с.
9. Толстой Л. Н. Собр. соч.: в 22 т. / Л. Н. Толстой. — М.: Худож. лит., 1978–1984.
10. Нагина К. А. «Роевая жизнь» и радость бытия в произведениях Л. Толстого / К. А. Нагина // *Вестник Удмуртского ун-та*. Серия История и филология. — 2019. — Т. 29. — Вып. 2. — С. 234–239.
11. Толстой Л. Н. Полн. собр. соч.: в 90 т. / Л. Н. Толстой. — М.-Л.: Худож. лит., 1928–1958.

Воронежский государственный университет
Нагина К. А., доктор филологических наук, профессор
кафедры русской литературы
E-mail: k-nagina@yandex.ru

Voronezh State University
Nagina K. A., Doctor of Philology, Professor, Department
of history and typology of Russian and foreign Literature,
Philological faculty
E-mail: k-nagina@yandex.ru